

УДК 323.27

**Радикализация западных революционных
идеологий в контексте российского менталитета:
В.И. Ленин и Е.Т. Гайдар**

Красиков Владимир Иванович

Доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии и социально-экономических наук,
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации,
117638, Российская Федерация, Москва, пер. Большой Каретный, д.10 а;
e-mail: KrasVladIv@gmail.com

Анотация

Автор полагает, что социальные эксперименты в России начала и конца XX в. были порождены творческой интерпретацией и, одновременно, адаптацией западных учений «проекта модерна» – выдающимися представителями российской радикальной интеллигенции. Суть подобных интерпретаций или ориентализаций заключалась в переосмыслении роли субъективного фактора и революционных технологий. Причем эти интерпретации резонансны друг другу – вне зависимости от их идеологической принадлежности.

Для цитирования в научных исследованиях

Красиков В. И. Радикализация западных революционных идеологий в контексте российского менталитета: В.И. Ленин и Е.Т. Гайдар // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2015. № 1-2. С. 24-45.

Ключевые слова

Проект модерна, ленинизм, радикальный либерализм, ориентализация.

Введение

Совокупность утопий-идеологий «проекта модерна», сложившаяся в течении XVIII-XIX вв. (либерализм, анархизм, марксизм), имеет фундаментально общие генезисные черты, являясь мировоззренческой манифестацией характерного *habitus* западноевропейского общества того времени. Однако это была только первая, европейская фаза его существования. Для истории XX в. определяющее значение приобрела вторая фаза его развития: его *ориентализация и радикализация* особым, эксклюзивным культурно-историческим субъектом – российской интеллигенцией. Это ориентализованные и радикализированные версии марксизма (ленинизм) и анархизм (конец XIX – начало XX вв.), спустя почти столетие – ориентализованный радикальный либерализм в России 90-х гг. XX в. [Красиков, 2006]

Блестящая судьба была уготована коллективистским ориентализациям. Они стали идеологической матрицей форсированной модернизации для большинства не-европейского человечества в XX в. Причем важно отметить, что речь идет не только о мировоззренческом обеспечении революционных политических переворотов, сопряженных с модернизацией, но и об идеологическом инструменте радикальной трансформации традиционных социо-психологических структур и насильственного формирования новых. Политический радикализм оказался необходимой формой форсированного развития Востока (или Юга – в современной терминологии). Без левого радикализма, базовой матрицей которого стал ленинизм, просто невозможно было бы провести форсированную модернизацию в глубоко коллективистских, традиционных странах, где он дает главное: психологическое и мировоззренческое преобразование для выполнения задач экономического форсажа. Однако, существуя в западной, рафинированно-рационалистической, культурно-замкнутой смысловой системе координат, идеи социального преобразования были недоступны для неевропейского большинства. Нужен был межкультурный медиатор для адаптации, ориентализации востребуемых идей. Это стало миссией, судьбой России и российской интеллигенции.

Российский менталитет и западные идеологии

Слова «миссия» и «судьба» – конечно же, метафоры, констатации пространственно-временных особенностей месторасположения (евразийность, приграничность), в которое «заброшена» Россия и которое существенным образом определяет ее историю. Формат существования России, взятый в глобальном временном измерении: катастрофическое развитие – перерывы и *изменение типов цивилизаций*.

Россия – это пять разных России: «Россия киевская, Россия татарского периода, Россия московская, Россия петровская, императорская, и Россия советская» [Бердяев, 1990, 7]. Это-то, пожалуй, и является главным, повлиявшим на формирование особого российского склада мышления-поведения (*habitus*), и плоть от плоти его – российской радикальной интеллигенции.

Резкое снижение степени преемственности в развитии как следствие его катастрофического типа, когда каждый раз происходила глубинная трансформация основ, привели к формированию специфического типа рациональности или «правил жизни». Какова жизнь, таковы и ее правила, тип рациональности. Российский опыт существования концептуализируется в иной, нежели «образцово-западная», форме рациональности. Это не рациональность преемственности, труда, накопления и дисциплины, сопряженная с имманентным обустройством повседневности. Подобный тип рациональности не мог стать преобладающим, хотя и имел место быть спорадически и в российской истории (старообрядцы).

Преобладающий тип российской рациональности – рациональность контраста, сопряженная с опытом нахождения у пределов существования, быстрой смены глубинных культурных основ. Рациональность выживания в экстремальных природно-климатических и историко-культурных условиях. К чему труд в охотку, радость, накопление, самодисциплина, если все может катастрофично поменяться в одночасье в условиях рискованного земледелия, рискованного государства, рискованного окружения? Нестабильность как «закон» существования порождает постоянную же нестабильность, глубинную душевную неравновесность, постоянное качание между отказом верить в какую-либо стабильность в этом мире, нигилизмом и обожествлением нестабильности –

в виде благодетельной, разрешающей это тягостное дление, Грядущей Катастрофы. «Русский же – апокалиптик или нигилист ... склонен все переживать трансцендентно, а не имманентно» [Бердяев, 1991, 260, 265].

Подобная нестабильность и отсутствие мировоззренческой преемственности губительно для традиции персонализации – формирования цивилизационно-культурных механизмов устойчивого и массового репродуцирования «персоны»: автономного и самодисциплинированного сознания. Это-то и порождает пресловутый тоталитаризм русского мышления – бегство в Целое, стремление спрятаться «за спиной» коллектива: православных ли, общинных ли, «абсолютных» ли ценностей.

В условиях рационализации не «имманентного» (повседневность труда и маленьких радостей быта), а «трансцендентного» (пределы существования, экстремальность как норма быта), ответственность за выбор приобретает метафизический, неподъемный для личности характер. Или святой, или разбойник с большой дороги; или мир спасти, или свиньей в луже валяться.

Российская историческая действительность экзистенциализирует рациональность. Западное мышление смогло пережить подобное, когда оно, может быть впервые в своей истории, оказалось на время в условиях, которые для России есть норма: в первой половине XX в., с его опытом тоталитарных диктатур и двух мировых войн.

Другая причина тоталитаризма мышления, может не столь значимая, как экстремальность существования, но производная от него и все же действенная как непосредственное обнаружение глубинного, – это деспотизм, на который указывают многие российские мыслители. Ясно, что сам деспотизм есть форма выживания социума в экстремальных условиях и как режим экстраординарный он имел место быть и в западноевропейских странах. В России же он стал нормой существования, во многом повлиявший на складывание «подпольного сознания» российских интеллектуалов. Либо рабы, живущие в режиме жесточайшего угнетения, либо самодуры абсолютной власти – как мог меж этих полюсов появиться человек самодисциплины и личной ответственности?

Русская интеллигенция, развивавшаяся в эксклюзивно-экстремальных условиях, вечное дитя выбора между Западом и Востоком, представляет со-

бой совершенно особую, радикалистскую разновидность социальной группы интеллектуалов.

Интеллектуалы ранее в истории редко составляли автономные группы с автономным самосознанием. Положение начало меняться в позднее средневековье и в Новое время, когда появляются университетская система образования, наука как социальный институт. Однако и в контексте этих процессов интеллектуалы серьезно отличимы по своему положению «относительной оторванности и отстраненности» от привычных нам социальных слоев и категорий. Сообщество интеллектуалов образуемо, как правило, из разных социальных источников, «из разных чинов». Это сообщество рассредоточено в обществе, в его духовной сфере, изолировано самым своим положением от реалий повседневности, прямых классовых интересов. Эти «оторванность и отстраненность» дают интеллектуалам иллюзию объективности своих взглядов (идеологические и утопические иллюзии), но и относительную свободу творчества. «Интересы» и «реалии» все равно находят пути своего представления во взглядах интеллектуалов уже тем, что есть избирательность поощрения славой и успехом.

«Свободнопарящая» интеллигенция [Манхейм, 1994, 7-277] мировоззренчески манифестирует коллективные идентичности других и в этом «функция» интеллектуалов «общего назначения» – тех, кто создает идеологии и утопии. Это «мозг и нервы» общественного тела. Особое «тело», выросшее в особых, экстремальных условиях России, порождает радикалистскую ментально-нервную самоорганизацию или российскую революционную интеллигенцию XIX-XX гг.

В понимании основных черт последней мы присоединяемся к мнению П. Струве и Н. Бердяева, которые характеризовали ее как «политическую категорию, особо устойчивую идеологическую группировку». Начиная с XIX в. часть образованных классов стала играть революционно-организующую роль в освободительном движении против деспотического режима, всесильного подавляющего государства. В XVII-XVIII вв. эту роль выполняло казачество (не войсковое сословие последующих XIX-XX вв.), «особый социальный слой, враждебный государству», имевший военные навыки и опыт противостояния. [Струве, 1991, с. 153]

Эстафету «казачьей миссии» приняла в XIX в. сначала группа из более культурных слоев дворянства, потом группа «разночинная». Вряд ли можно отождествлять понятие «русской радикальной интеллигенции» со всеми российскими интеллектуалами в течение последних двух веков. Тем более, что вокруг самого термина не утихают идеологические споры: сначала между «левыми» радикалами и «правыми» консерваторами (конца XIX – начала XX вв.), потом между «правыми» радикалами и «левыми» консерваторами (конца XX – начала XXI вв.)

Все же, определенно можно сказать, что именно радикальная часть в отечественной интеллигентской среде всегда задавала тон, определяла основной общественный настрой, создавала имидж «русской интеллигенции». Это также симптоматичная наша черта – именно радикалы, будь они каких угодно мастей, прежде всего привлекают общественное внимание, к ним тянется «русская душа».

Можно выделить шесть генераций российской радикальной интеллигенции:

1. идеалисты 40-х гг. XIX в. (славянофилы, западники, «лишние люди»);
2. нигилисты 60-х гг. XIX в. («мыслящие реалисты», Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский);
3. народники 70-80-х гг. XIX в.;
4. марксисты и социал-революционеры 90-х гг. XIX в. – первых десятилетий XX в.;
5. властное перерождение, формирование милитаризованного типа советской партийной интеллигенции;
6. возрождение российской интеллигентской радикальной освободительной традиции: шестидесятники, правые радикалы 90-х гг. (Е. Гайдар, А. Чубайс и др.), «неославянофилы» (А. Дугин, А. Проханов и др.).

Российские интеллектуалы имели и имеют социально-экономический статус, довольно отличный от своих западных коллег. Они более пролетаризованы и были менее связаны с господствующими классами, особенно во второй половине XIX в. Университетское образование в России было более демократично, как отмечает Н. Бердяев, но это имело следствием отсутствие доступа

в привилегированные классы. На Западе «промежуточность» интеллектуалов менее радикальна, эта категория там более диффузна. В России же она, в силу ее радикального положения обособленности – привилегированные классы не принимали в свои ряды, а крестьянским массам она была чужда – сплотилась и стала самостоятельным и активным социально-политическим субъектом, социальной группой, шедшей к власти, но под знаменами интересов подавляющего невежественного темного большинства. Российская интеллигенция стала главной силой модернизации, ее идеи и опыт – мировоззренческой матрицей для национальных интеллигенций стран «третьего мира» (Востока, Латинской Америки и Африки), перед которыми встали сходные объединенные задачи освобождения и модернизации. Потому ее родовые свойства были духовно воспроизведены, запечатлены во всем неевропейском мире. Тем более, что они были резонансны неевропейскому миру именно благодаря «азиатскому началу» России.

Каковы же эти «родовые» свойства? Главная из них, единодушно подмечаемая весьма разными по убеждениям авторами знаменитых «Вех» еще в начале прошлого, XX в. – это «отщепенство». Возможно, это чересчур негативистский термин, однако явное отчуждение от основных сил традиционного общества (коим была еще в целом Россия XIX в.), которое и являлось причиной радикализации, несомненно, присутствовало. Питательная и рекреационная среда радикальной интеллигенции – искусственное образование модернизации – студенчество. Они создают кумиров, они настоящие «революционные массы».

Действительно, кто как не молодые честолюбивые маргиналы, «растиньяки», получающие вместе с западным просвещением и западные радикальные идеи, смогли возглавить «революции надежды» модернизационного характера?

Однако, «отщепенство», определяя собой необходимый для «восточных» условий радикализм, порождало и своеобразную ситуацию крайней интеллектуальной шаткости и безосновности. Безосновность выразилась в разрыве с традицией, в российском случае – с православной, которая выполняла функцию ценностно-нравственного «стержня». Отсюда доминирующий атеизм

либо, в некоторых случаях, неортодоксальная (самочинная, вне церкви) религиозность российской интеллигенции.

Эта безосновность объяснима историческим младенчеством российской интеллигенции («дитя Петрово»), ее искусственным характером (приложение модернизации). Ее «учредили», послав учиться за границу дворянских недорослей или же пригласив «немцев» учить в России, и как проводник модернизации она не могла не быть настроенной на Запад (положительно либо отрицательно). Однако нельзя «учредить» самобытность и самоорганизацию, это может появиться после продолжительного времени опыта самостоятельного развития. Та же ситуация «отщепенства» и качества, с ней связанные, наличествуют и у неевропейской интеллигенции (Азии, Африки).

Другое качество менталитета российской интеллигенции — его коммуникативно-полемиическая направленность, имманентное нахождение в пространстве медиации, евразийского взаимодействия. Россия принципиально уже не сможет, даже если и захочет, радикально автономизироваться, партикуляризоваться.

С одной стороны, это позитивно, порождая особую чувствительность и синтетичность русского мышления, возможности его проницательной, рефлексивной позиций в отношении основных цивилизаций и партикулярных типов мышления. С другой стороны, это негативно, т.к. возможности реализуются далеко не всегда и зависят от процесса формирования новой, уже собственно российской ментальной традиции, уязвимой в личностном отношении. Слишком часто вторая сторона реализовывалась как повышенная суггестивность в отношении чужих влияний, рабское подражание либо скрытый плагиат. Вместе с тем, как ни многочисленны в нашей истории примеры интеллектуальной зависимости, российские интеллектуалы смогли все же осуществить свою евразийскую миссию, произведя идеи, воспринятые не только народами без устойчивых самостоятельных ментальных традиций, но и восточными великими культурами. Ленинизм и русский анархизм инициировали китайскую адаптацию марксизма — маоизм, а учение Л.Н. Толстого — гандизм.

Итак, особые обстоятельства происхождения, сложившаяся в соответствии с ними своеобразная ментальная организация радикальной российской

интеллигенции, сделали ее способной к дальнейшей радикализации и ориентализации учений «проекта модерна». Сначала этим процедурам подверглись марксистские идеи у Ленина и идеи классического анархизма (П.-Ж. Прудон, В. Годвин, М. Штирнер) – у М. Бакунина и П. Кропоткина. Спустя столетие – идеи классического либерализма – у Е. Гайдара и К°. Рассмотрим основные черты этих обновлений проектов общественных преобразований.

Первой чертой можно считать учет роли этатистского контекста Востока. Деспотическое, тотальное государство, контролирующее крупную и среднюю собственность, умонастроения масс, всеильная бюрократия, управляемый рынок, отсутствие стабильного «гражданского общества», консерватизм, коллективизм – характеризуют общественно-политическую реальность «восточных обществ», «азиатского способа производства» (Маркс).

Модернистски настроенные русские теоретики не могли не видеть своего главного противника, основное препятствие, основную проблему. «Проект модерна» потому не мог не «этатироваться», а стратегия преобразования была поставлена в зависимость от манипуляций с государством, от трансформации центра «восточной реальности». Рефлексии над этим положением вещей представлены в двух коррелятивных трудах наиболее выдающихся лидеров-теоретиков русского коммунизма начала и русского либерализма конца XX в. – В.И. Ленина и Е.Т. Гайдара: «Государство и революция» и «Государство и эволюция».

Культурно-антропологические сходства между двумя этими авторами поражают: оба – радикальные носители «западных идей», способные к их теоретико-практической адаптации к российским условиям; чрезвычайно энергичны, целеустремленны и фанатичны, гениальные интеллектуально-организаторские способности соседствуют с идиосинкразией к некоторым вещам, вера и идеализм – с политическим цинизмом. Оба единодушны в констатации определяющей роли государства как главного средства преобразований. Различия диаметрально в понимании путей: усиление государства, ставшего после революции и смены его людского состава, «своим» либо ослабление государства, которое никогда не может быть «своим».

Ленин в отношении к государству исходил из общемарксистских постулатов, особо не акцентируя идею об «азиатском» способе производства, не

различая специфики именно «восточного государства» в истории России. Согласно его теории империализма, мировой капитализм вступает в свою монополистическую стадию, отказываясь от свободной конкуренции, в силу чего власть концентрируется в руках финансовой олигархии, срастающейся с государством. В итоге – государственно-монополистический капитализм, полнейшая материальная подготовка для «введения социализма». Причем Ленин имел в виду именно сложившийся естественно-историческим образом «высоко технически оборудованный механизм», социально-экономическую структуру сверхцентрализованной государственной экономики. Слова Ленина «сломать бюрократическую машину современного государства» поясняются: «свергнуть капиталистов», «освободить от паразита» и означают – «заменить людишек». «Ломать» вовсе не означало «переструктурировать», а лишь самым встать у кормила распределения благ, нанять «техников» и опять «пустить в ход» эту государственную машину. [Ленин, 1980, 293].

В дооктябрьских работах Ленин неоднократно выражал радость и удовлетворение по поводу «кануна социалистической революции» – военной сверхцентрализации экономики, полагая, что революционеры-идеалисты с железной волей подчинят себе «машину», «структуру». Однако забытый в революционном пылу «объективизм» Маркса ориентировал на другое. И Маркс оказался прав: «структуры» (экономика, материальные условия, менталитет), в конечном счете, подчинили себе людей. Справедливости ради, – скорее «детей», следующую большевистскую генерацию.

Но «государство диктатуры пролетариата» все же провело востребуемую форсированную модернизацию коллективистским, насильственно-мобилизационным путем. В итоге, правда, получился не социализм как гражданское общество самосознательных личностей, а тоталитарная империя. Коммунистические империи как коллективистско-восточные формы проведения модернизации были также вполне успешно построены по ленинским рецептам в Китае Мао Цзэдуном, во Вьетнаме – Хо Ши Мином, в Северной Корее – Ким Ир Сеном, на Кубе – Фиделем Кастро.

Радикальный русский либерализм по-иному относился к «восточному государству», считая его основным препятствием стратегии улучшения обще-

ственной жизни, видел его колоссальную силу. Уже в 30-х гг. XX в. Бердяев констатировал этатистское перерождение революционной власти: «чуда рождения новой жизни не произошло, ветхий Адам остался и продолжает действовать, лишь трансформируя себя ... Воля к власти станет самодовлеющей и за нее будут бороться как за цель, а не как за средство» [Бердяев, 1990, 105].

В 90-х же гг. XX в., идеолог новой генерации радикального либерализма Гайдар разрабатывает свою этатистскую теорию. Различия между Востоком и Западом он видит в разных состояниях развития государства: есть «хорошее» и «плохое» государство – мало вмешивающееся в дела гражданского общества, рациональное и тотальное, иррациональное. Исторически власть первична по отношению к собственности, ослабление и рационализация государства как процесс становления самостоятельной структуры гражданского общества начинается с «греческой мутации» и возобновляется в утверждении капитализма. На Востоке, в более экстремальных условиях тотальных, перманентных конфликтов и войн, в том числе и в России, все осталось по-прежнему: отсутствие истории, движение в рамках вечного цикла: завоевание, революция – приватизация государства, обмен власти на собственность, разложение – кризис, новая революция.

Суперструктура восточного государства была усилена, модифицирована Иоанном Грозным, Петром и Сталиным и хотя вслед за этатистскими обновлениями всегда следуют периоды разложения, эта суперструктура всегда возрождается. Как и у Ленина, у Гайдара чувствуется некоторый тон обреченности и ужаса перед древней, еще никогда не побежденной ранее, формой, архетипом. Однако, как и Ленин, Гайдар уповает на революционную энергию и решимость. Ограничение, рационализация государства (не «ослабление»), используя выкуп власти у чиновничества – обмен власти на собственность для них (номенклатурная приватизация). Его главное упование, конечно же, на спонтанное становление структур гражданского общества, пробуждение от векового сна российского сознания. Другое направление – «промыывание государственных мозгов», секуляризация (обмирщение) иррациональной, мистической, имперской идеи, превращение ее в идею «ночного сторожа».

Этатизм как черта обновления, ориентализации «проекта модерна» является, в свою очередь, производной от более фундаментальной – *волюнтариза-*

ции, сознательного радикализма. Подобная возможность, «сторона» есть и в классических версиях учений «проекта модерна», но там она никогда не становилась *традицией и тотальной формой* – как в России.

Якобинская диктатура, Парижская коммуна – эксцессы, признанные таковыми, ставшие скорее назидательными примерами и аргументацией утраченного в спорах, заканчивающихся, как правило, компромиссами. Полоса революций на Западе уже прошла, радикализм обоих форматов уже опробован, пережит и никто уже не заинтересован в патологическом обострении. Иное дело Россия, затем и другие, лишь просыпающиеся от тысячелетней тотально-коллективистской летаргии, страны. Здесь преобразования инициированы извне. Не будь активного, возмущающего, разрушающего воздействия беспокойного, западного интернационального компонента мировой системы, Восток мог бы столь же спокойно пребывать в вечности своих циклов. Колониализм и неоколониализм, вестернизация, агрессии Запада породили вынужденные ответы в течение прошлого столетия и начале нынешнего.

Первым ответом был левый радикализм – контрверза либерализму как официальной идеологии Запада. Вторым ответом, в условиях дискредитации и тотального кризиса «модерна», следовательно, мировоззренческого «обнажения» сознания, возврата к «исподнему», структурам повседневности – религиозный фундаментализм.

Максимализм русского мышления, единодушно отмечаемый критической интеллигенцией (Ф.М. Достоевский, авторы «Вех»), проистекает из особенностей «объективных условий»: варварской, не «замиренной» легальными законами, компромиссами, непредсказуемой среды. Это, одновременно, и болезненная реакция, и форма рационального поведения в подобных условиях. С одной стороны, апатия, «русская лень» («обломовщина») – как интуитивное понимание безнадежности, бессмысленности усилий «сдвинуть махину» природно-социального бытия, Старого Биологического Порядка. С другой стороны, энергия отчаяния, сверхмобилизация.

Такой же максимализм имманентен и части радикальной восточной интеллигенции, также инородной, привнесенной вестернизацией. Россия по своему

развитию просто оказалась первой среди неевропейских стран, вовлеченной в орбиту «вестернизации-модернизации».

Волюнтаризация нашла свое выражение в формировании авантюрного стиля мышления, включающего в себя крайний ригоризм и настрой на навязывание своей воли и своих решений, склонность к крайним мерам. Социальные взрывы в России начала и конца XX века происходили в сходных условиях вырождения деспотизма, тяжелейшего экономического кризиса и «нигилизации» населения. Каждый раз столь экстремальные условия порождали фанатиков, настроенных на патологическую конфронтацию и внедрение своих идей любыми средствами, ибо убеждены: «то, что мыслимо, то осуществимо» (Мао Цзэдун).

Однако, следует признать, что фанатизм в двух российских революциях (1917 и 1991), как и в революционной практике стран «Востока» («Юга») есть «хитрость мирового разума» (à la Гегель), есть именно проявление разумного, рационального содержания по видимости в иррациональной форме. Это сверхмобилизация воли фанатичных групп, только и способных «расшить» острейшие противоречия – какими-угодно методами, но решить проблему, грозящую социальным коллапсом. Потом, задним числом, задним умом, все горазды говорить о том, что вот бы постепенно, ладком да мирком – оно бы лучше вышло. Не вышло бы, все революции и реформы проводятся радикалами, хирургами социального организма, как бы к ним не относиться (мол, есть «добрые» и «злые»?) Потому рефлексии этих фанатиков выражают их социальную гениальность, уместную, однако, только в тех и только тех конкретных революционных условиях. Их ценность и предназначение – «расшить» неразрешимый клубок противоречий. Они достигают высот прозрений, формируются как типажии именно логикой этой ситуации, сами становясь «логикой этих ситуаций». Каковы же постулаты подобных логик?

Фанатик начала XX века утверждал в трех разных работах: «классовые противоречия объективно не могут быть примирены», «середины нет, и в этом основное противоречие нашей революции». «Или – или. Середины нет. Со всем недавно такой взгляд считали ослепленным фанатизмом большевиков. *А вышло именно так* (курсив Ленина)» [Ленин, 1980, 236, 201, 735].

Мне всегда казалось, говорит фанатик уже конца XX века, впрочем, даже бравирующая своим «большевизмом», сиречь радикализмом, – что должно быть «или – или». Или они – или мы, или свобода – или рабство. Или коммунисты – или антикоммунисты. Сейчас же растленное время «и...и» [Новодворская, 1993]. Смысловой стержень книги Гайдара также «или – или»: «оледенелая государственность», «крайнее, запредельное уродство социалистической экономики», «посткоммунистический империализм» либо «республика «западного типа»», «путь в «первый мир»».

Следствием «объективности» конфронтационного размежевания политических сил, в чем убеждены, уверяя себя и всех остальных, радикалы, является выбор крайних средств, сроков («сегодня – рано, завтра – поздно») и темпов («одним революционным ударом») необходимо революционных действий. Другим оправданием, резонансом в логике политического радикализма является концепция «внутренней слабости» врага, который только кажется кратно превосходящим по силе.

Волонтаризм имеет под собой, прежде всего, психологическую основу комплекса «революционного превосходства», «моральной силы правого дела», уравнивающий несоизмеримые силы в настоящем и определяющий грядущую победу при поддержании соответствующей интенсивности революционного активизма. Однако, и это главное, сам революционный активизм уместен и эффективен лишь в экстремальной же ситуации кризиса. В условиях нормальных он просто неуместен и смешон, что наглядно видно на примере современных политических радикалов в России.

Однако надо понять и нетерпение людей ригористического склада, для которых Порядок должного – это не пустое слово. Ждать и ждать, теряя годы своей единственной жизни? Ждать «созревания объективных условий», которые могут и не созреть при этой, моей жизни? Значит надо *провоцировать кризисы и управлять их развитием*. Причем главный враг революции даже не государство, политические противники и эксплуататоры, а «буржуазная обстановка, собственнические привычки, мещанские традиции». Потому главное, рефлексировать над своим опытом Ленин, – «уметь быть революционером, когда *еще нет* (курсив Ильича) условий для прямой открытой борьбы», «задача в

том, чтобы пробудить революционную активность к самостоятельности и организации трудящихся масс, *независимо от того, на каком уровне они стоят* (курсив мой – В.К.)» [Ленин, 164-165]. Для этого надо «увлечь своим беззаветным героизмом», «геройской инициативой отдельных групп».

Но в наибольшей степени волюнтаризм российских версий «проекта модерна» наблюдаем в уверенности, что новые порядки после захвата власти можно внедрить принудительным образом, а «реальность» и сознание людей достаточно пластичны, и изменяемы в желаемом направлении при «научно-расчетливом», точечном воздействии на них.

Как либеральная, так и марксистская (вместе с западно-анархистской) составляющие «проекта модерна» если и признают известную «революционную субъективность» собственно революционного времени, то в отношении предваряющего и последующего развития общества они уповают на социальную естественность, объективность. Иначе для чего толкать общество куда-то, чему нет оснований? Зрелость, готовность общества к последующему новому эволюционному развитию, для которого революции лишь освобождают, расчищают место, – основной тезис аутентичного «проекта модерна» в обеих его главных ипостасях.

Совершенно иная ситуация на «Востоке» (или «Юге» по современной «геоориентировке»). Объективных условий для модернизации, помимо освободительных, национально-культурных самосохраняющих мотивов, тяжелого экономического положения (все это вызывается экспансией того же Запада) – просто не существует. Ленин констатирует это в знаменитых словах о том, что нам (на Востоке) легче начать, но гораздо труднее продолжить. Тогда как на Западе труднее начать, но легче продолжить, т.к. налицо объективные условия. Отсюда и идея принуждения к «правильному поведению», используя государство и средства массовой пропаганды. После некоторого времени «люди *привыкнут* к соблюдению элементарных условий общественности *без насилия и без подчинения* (везде курсив Ильича)» [Ленин, 1980, 293].

Спустя более 70 лет ставятся те же задачи внедрения уже другой версии «проекта модерна»: укоротить государство, изменить само социально-экономическое устройство, восстановить прерванное социальное и культурное

единство с Европой, взрастить европейские институты на российской почве. Еще более откровенна «ультра» Валерия Новодворская: страна не выбирала либерализм, она и не могла его сознательно выбрать. Речь идет о том, как его стране навязать. Я хочу, чтобы была создана жесткая конструкция экономического принуждения.

Опривычивание (хабитуализация) принуждения – действительно один из традиционных механизмов творения (конструирования) социальной реальности самим обществом, его «конструкторами», но все дело в определении «точек приложения» принуждения (с чем люди будут в конце-концов склонны согласиться) и интенсивности его применения. Волонтаризм и означает волю тотального навязывания радикально инородного, волю нетерпения.

Значит, нужна хитрость, значит, нужна умелость во «внедрении». Значит, резко возрастает значение инструментальной стороны «проекта». *Инструментализация* – еще одно проявление ориентализации «проекта». Самое главное «орудие» революции – сам революционер, в России второй половины XIX – начале XX вв. сложился особый типаж революционера, невиданный, за редкими исключениями, в Западной Европе, – тип тотального революционера. Идея, Дело захватывают его целиком и без остатка. Любой акт своей жизни этот человек соотносит с одной, всепоглощающей, революционной страстью. Архетипами «тотального революционера», помимо литературного Рахметова, стали вполне реальные Нечаев, потом Ленин, Троцкий, Дзержинский, потом плеяда других революционеров стран Азии и Латинской Америки. Нечаевский «Катехизис революционера» затем воспроизводился, вне контекста плагиата, а через «ментальный перенос», в сотнях других революционных документов.

Другой, еще более важный инструмент преобразования, – партия нового типа, «орден меченосцев», партия «самой строгой централизации и железной дисциплины». Теоретико-практическая «матрица» большевистской партии, вероятно, – один из главных итогов ленинской деятельности, начиная с работы «Что делать?» (1902) и завершая подытоживанием для передачи опыта «зарубежным товарищам» (1920). Отрефлексировав свой двадцатилетний опыт, Ленин утверждает об альфе и омеге организации нового типа: неукоснительный, жесткий моноидеизм и маккиавелизм.

Ленин, правда, скромно умалчивает о главном ферментативном, одушевляющем начале партии – вожде, хотя, может для него это «слепое пятно» восприятия действительности. Действительно, кто определит «правильные» контуры Идеи, а также пределы допустимости в использовании компромиссов, отступлений в стратегии и в тактике борьбы? Формально – коллегиальное руководство, ЦК. Реальная же история самой партии большевиков, равно как и история других последующих левых и правых партий «нового типа», подтверждает их вождизм как неперемненное условие их идентификационной устойчивости и политической эффективности.

Явно сильная сторона ленинизма именно в его «технической стороне»: как действовать и организовывать революционную борьбу. Есть общая парадигма, «дисциплинарная матрица» революции, «руководство к действию», которую надо применить к решению конкретных головоломок – «своеобразным условиям, которых нет в европейских странах». Правда, специфика ленинизма как прагматики революции в том, что был отрефлексирован опыт лишь одной из форм, свойственный России первых десятилетий XX в. Это опыт открытых вооруженных восстаний в условиях тотального кризиса и прогрессирующего паралича государственной власти, когда идейно сплоченная вождем группировка своей решительностью и новизной привлекает симпатии населения и берет власть. Это довольно-таки нечастый прецедент (Куба, 1959). Однако, используя ленинские общие методологические принципы: рассредоточенность и удары по «нервным узлам» Системы, морально-психологические преимущества, маккиавелизм, его гениальные ученики разработали их адаптации к гораздо более трудным условиям ведения революционной борьбы. Наиболее действенные из них – теория партизанской борьба председателя Мао и теория городской войны бразильца Маригеллы.

Гораздо менее удачными с точки зрения их «гуманистической цены» были опыты по строительству новой жизни, которому все время мешал «ветхозаветный Адам». Здесь утопизм, как проецирование себя на других и вера в отвлеченные «хорошие идеи», проявил себя более всего. Чего стоит только вера Ленина в то, что можно «всех научить управлять» (надо лишь освоить арифметику), а чиновники и «интеллигентики» будут работать «как миленькие» – за

зарплату рабочего. Спустя два года он был вынужден признать: «искусство государственного, военного, экономического управления дает им («интеллигентам» – В.К.) перевес очень и очень большой, так что их значение несравненно больше, чем их доля в общем числе населения» [Ленин, 1908, 227]. Пришлось положить им зарплату в 10-15 раз большую, чем у любимых пролетариев. НЭП, как известно, был политикой выживания, компромиссом в ожидании «перманентной революции», сменившейся государственными мобилизациями, коллективизацией, индустриализацией, «большими скачками» и культурной революцией.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. либерализм в России переживает свое революционное обновление и ориентализацию. Помимо неизбежных этатизации и радикализации, происходит также «инструментализация» опыта борьбы с тоталитарными структурами в виде особых «технологий», успешно затем используемых в странах с «восточными порядками».

Применяя слово «технологии», я не имею в виду, что они были разработаны «заокеанскими дядями» и применены ими для развала СССР. Нет, это, прежде всего, стихийно самоорганизующаяся российская практика развития кризисной ситуации, когда «вечно революционная сила», интеллигенция, поколение назад (шестидесятники) уже отказалась от союза с переродившейся властью и вступила на путь поиска новых радикальных путей. Эти поиски, как и в начале XX в., соединились с тяжелым поражением в мировой войне (на сей раз – «холодной»), как следствием – с хозяйственным кризисом и прогрессирующим параличом воли «верхов». Разумеется, это радостно приветствовалось и щедро финансировалось заинтересованными силами извне. Как и в случае с Германией и Лениным, но, как и тогда, не закулисное вмешательство сыграло определяющую роль. Как и во всех революциях, определенным, характерным способом соединились объективные кризисные условия и революционное творчество интеллектуалов, которые вырабатывают свои технологии взаимодействия с массами, их организацию в процессе борьбы.

Технологии эти вполне «большевистские». Сначала идейная дискредитация режима и его прошлого через тотальное очернение, индоктринация своих идей при помощи средств массовой информации, по своему составу априор-

но интеллигентских; раскол правящих элит по каким-либо частным признакам (этническим, религиозным, культурным). Идеино-политический паралич власти провоцирует углубление хозяйственного кризиса до кондиции «революционного», что активизирует радикальную часть населения (прежде всего молодежь, студенчество) на участие в массовых акциях протеста. Наконец, масштабная провокация ведет к конфронтации, в которой хронический дефицит воли у защитников правящего режима предопределяет поражение.

Опыт «революционного русского либерализма» 1989-1991 гг. уже успешно опробован в Монголии 1992 г., Грузии 2003 г., Украине 2004 и 2014 гг. и, судя по всему, у него «прекрасное будущее».

Ориентализация либерализма в конце XX в. сообщает ему новую революционную энергию. Интеллектуалы-выходцы с Востока (Дж. Сорос, Ф. Фукуяма, Ф. Закария и мн. др.) – наиболее революционная часть современного обновления и экспансии либерализма. Идет борьба за то, чтобы глобализация, дальнейший этап модернизации, проходила в формате «открытого общества».

Заключение

Похоже, однако, что готовится, зреет какой-то новый утопический проект. Рожден он будет «свободнопарящей интеллигенцией» спонтанно, в еще большем плюрализме мнений, чем «проект модерна». Трудно предугадать его очертания, хотя первые зарницы уже видны. Представляется, что это будет, во-первых, новая трансценденция «пределов», обозначенных кризисом, – посредством «возвращения субъекта» на постметафизической основе и, соответственно, через новую универсализацию, новый всплеск «утопических энергий». Во-вторых, же, думаю, что будут присутствовать неизменные его «индивидуалистическая» и «коллективистичная» (солидаристская) аранжировки.

Библиография

1. Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины: сб. ст. 1991. 608 с.

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с.
3. Красиков В. И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, форм и паттернов экстремистского сознания. М.: Водолей Publishers, 2006. 496 с.
4. Кургузов В.Л. Историческая память и забвение в культурном пространстве как репрезентация прошлого в настоящем // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2013. № 3-4. С. 17-31.
5. Ленин В.И. Избранные произведения в трех томах. М.: Политиздат, 1980. 843 с.
6. Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 700 с.
7. Новодворская В. По ту сторону отчаяния. М.: Новости, 1993. 287 с.
8. Струве П. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины: сб. ст. 1991. С. 462-464.

The radicalization of Western revolutionary ideologies in the context of Russian mentality: V.I. Lenin and E.T. Gaidar

Vladimir I. Krasikov

Doctor of Philosophy, professor,

Head of the Department of philosophy and socio-economic sciences,
Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation,

117638, 10a Bolshoi Karetnyi lane, Moscow, Russian Federation;

e-mail: KrasVladIv@gmail.com

Abstract

The article deals with the radicalization of Western revolutionary ideologies in the context of Russian mentality. The author of the article thinks that the social experiments in Russia that took place at the beginning and at the end of the 20th

century were born out of creative interpretation and, at the same time, adaptation of the Western teachings on the "project of modernity" by the outstanding representatives of the Russian radical intelligentsia. The essence of such interpretations or orientalizations consisted in reconsideration of the role of the subjective factor and revolutionary technologies. Moreover, these interpretations are resonant with each other – regardless of their ideological affiliation. However, it seems that a new utopian project is being prepared. It will be developed by "free-floating intelligentsia" spontaneously and will be born in even greater diversity of opinions than the "project of modernity". It is difficult to predict its outline. This is likely to be, firstly, a new transcendence of "limits" marked by the crisis – through the "return of the subject" on a post-metaphysical basis and, accordingly, through new universalization, a new burst of "utopian energies". Secondly, the author of the article thinks that its "individualistic" and "collectivistic" arrangements will be present.

For citation

Krasikov V.I. (2015) Radikalizatsiya zapadnykh revolyutsionnykh ideologii v kontekste rossiiskogo mentaliteta: V.I. Lenin i E.T. Gaidar [The radicalization of Western revolutionary ideologies in the context of Russian mentality: V.I. Lenin and E.T. Gaidar]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 1-2, pp. 24-45.

Keywords

Project of modernity, Leninism, radical liberalism, orientalizations.

References

1. Berdyaev N.A. (1991) Dukhi russkoi revolyutsii [Spirits of the Russian Revolution]. In: *Vekhi. Iz glubiny: sb. st.* [Milestones. Out of the depths: collected articles]. Moscow.
2. Berdyaev N.A. (1990) *Istoki i smysl russkogo kommunizma* [The cradle and significance of Russian communism]. Moscow: Nauka Publ.
3. Krasikov V.I. (2006) *Ekstrim. Mezhdistsiplinarnoe filosofskoe issledovanie prichin, form i patternov ekstremistskogo soznaniya* [Extreme. An interdisciplinary study of the causes, forms and patterns of extremist consciousness].

plinary philosophical study on the causes, forms and patterns of extremist consciousness]. Moscow: Vodolei Publishers.

4. Kurguzov V.L. (2013) *Istoricheskaya pamyat' i zabvenie v kul'turnom prostranstve kak reprezentatsiya proshlogo v nastoyashchem* [Historical memory and oblivion in the cultural space as a representation of the past in the present]. *"Belye pyatna" rossiiskoi i mirovoi istorii* ["White Spots" of the Russian and World History], 3-4, pp. 17-31.
5. Lenin V.I. (1980) *Izbrannye proizvedeniya v tryokh tomakh* [Selected works in three volumes]. Moscow: Politizdat Publ.
6. Mannheim K. (1929) *Ideologie und Utopie*. Bonn. (Russ. ed.: Mannheim K. (1994) *Ideologiya i utopiya*. In: *Diagnoz nashego vremeni* [The diagnosis of our time]. Moscow: Yurist Publ.)
7. Novodvorskaya V. (1993) *Po tu storonu otchayaniya* [On the other side of despair]. Moscow: Novosti Publ.
8. Struve P.B. (1991) *Intelligentsiya i revolyutsiya* [Intelligentsia and Revolution]. In: *Vekhi. Iz glubiny: sb. st.* [Milestones. Out of the depths: collected articles]. Moscow, pp. 462-464.